





Первый раз он появился у ее окна в самом конце лета.

Было душно: лето, август, марево. Нина сидела у себя в комнате на подоконнике, смотрела в окошко и, как обычно, ничего, кроме двора, не видела. Хотя если задрать голову совсем вверх, то можно увидеть кусочек неба и любимое место голубей на карнизе верхнего этажа. Нина стала их считать: раз, два, три, четыре... Там, в вышине на карнизе, сидели четыре голубя — ой, нет, один вдруг самоубийственно кинулся вниз, развернулся в воздухе и вылетел через арку на улицу.

Три. Их осталось только три.

Решетка, конечно, очень мешала привольной жизни. Но папа сказал: «Первый этаж, это необходимо, и все тут». Он решил зарешетить окна

после того, как обворовали квартиру в соседнем доме. И тоже на первом этаже. Нина была тогда совсем еще маленькая, но помнила, как пришли рабочие в грязных промасленных штанах и с приклеенными папиросками в уголках рта и целый день приваривали, сверлили, воняли, бурили и курили. Нине все это не понравилось, совсем не понравилось. Раньше она могла в любое время вылезти из окна своей комнаты и оказаться сразу посреди двора, на качелях под липой. Мама разрешала: главное, чтоб со двора ни шагу. А сейчас что? Теперь надо было выходить из квартиры как все нормальные люди, спускаться вниз по лестнице черного хода и только тогда можно было выйти во двор. Муторно и неудобно. Хотя в первый раз, как только промасленные рабочие ушли, Нина сразу же попыталась пролезть сквозь решетку, и это у нее почти получилось. «Почти», потому что она тогда застряла и стала кричать на весь двор. Прибежали соседи, и маме пришлось вылить на нее пол-литра дефицитного подсолнечного масла, чтобы протолкнуть ее во двор, не поранив, скользкую и липкую.

В Нину потом надолго въелся этот запах давленных семечек, и она вспоминала с содроганием, как масло тепло и липко струилось по ногам, пока она шла обратно домой, оставляя, как улитка, скользкий жирный след и плача от противности

и брезгливости. Мама ей тогда сказала: «Каждый раз, когда ты будешь пытаться пролезть через решетку, я стану поливать тебя маслом, ты поняла?»» Нина поняла. А мама тогда рассердилась также и на папу и обругала его: какой смысл вообще ставить решетку, если в нее запросто может пролезть человек? Но Нину от масла она все-таки отстирала.

Постное масло Нина ненавидела. В нижнем ящике мамино рабочего стола в архитектурской кальке лежала маленькая хлопковая безрукавка, которую всегда использовали как компресс, когда Нина болела воспалением легких. Она была насквозь промасленная, эта распашонка, и противно пахнущая, поскольку отстирать ее от жира было совершенно невозможно. Впрочем, никто и не пытался — посильнее выжимали, сушили, и все. Как только Нина начинала кашлять, а в ее детстве это случалось довольно часто, мама торжественно доставала из ящика компрессную безрукавку, кальку и вату. Потом наливала в миску порядочно масла, утапливала в ней ткань и ставила на огонь. И всегда держала в масле палец, чтобы почувствовать, как оно доводится до нужной температуры чуть выше человеческой, чтобы хорошенько, а лучше раз и навсегда прогреть кашляющие легкие. Нину облачали в эту сальную распашонку («Сердце, сердце не закрывай», —

обычно советовал папа), сверху закатывали калькой, потом обертывали ватой, как новогоднего снеговика, надевали узкую старую майку для удержания лечебных слоев и весь этот кашляющий букет укладывали спать. Это был бабушкин рецепт. Она говорила, что в детстве так спасали от легочных воспалений ее саму, маму и бабушку. Но с Нининой точки зрения, этот компресс был не лечением, а пыткой и преступлением против детства. Нина зажмуривала глаза и старалась не прислушиваться к своим масляным ощущениям, иначе слезы начинали литься сами помимо ее воли. Вонючим прогорклым жиром пропитывалась каждый раз не только распашонка, но и руки, ноги, волосы, постель — все! Даже мысли и те оказывались какими-то вязкими и клейкими. Нина старалась замереть, не двигаясь, чтобы наконец заснуть и поскорее проснуться здоровой.

Однажды Нину положили в больницу, и врачи сказали, что после тяжелого воспаления легких может не дай бог случиться осложнение на сердце и что надо делать уколы и все время лежать, не вставая, потому что сердце у нее теперь какое-то время будет находиться в пяточках, а топтать его никак нельзя, иначе оно совсем испортится. Нина пролежала пластом почти месяц, а когда ее выпустили, совсем слабенькую, но поправившуюся, то даже после больницы она еще несколько

месяцев старалась ходить по дому на цыпочках, боясь вообще наступать на пятки: вдруг сердечко раздавится?

Эта больница ей запомнилась надолго и стала источником первых детских ужасов. Однажды две молодые и одинаково рыжие практикантки попытались взять у Нинки кровь, но каждый раз, тихо шепча непонятные слова, не попадали в вену и в результате расковыряли обе руки. Потом они осмотрели своими хищными сорочьими глазами худые бледные ноги девочки, собираясь найти вену там, и строго предупредили Нинку, словно она была виновата, что если и на этот раз у них ничего не получится, то они будут брать кровь из вены на голове. Нина тогда закудаhtала, запричитала и закричала что было сил, пытаясь жутким плачем испугать этих хищниц, ее сердечко забилося быстро-быстро, но совсем не в пятках, как ей сказали, а там, где ему и было положено — в груди. И только прибежавшая на крик пожилая медсестра с грустным и усталым лицом, как у старенькой Снегурочки, успокоила Нинку какими-то простыми словами и легко с первого раза все сделала сама. А потом одобрила мамино средство лечения пневмоний — масляные компрессы.

Поэтому пневмонии Нинка не любила. Как только она закашливала, то сразу начинала горько плакать, но не потому, что у нее что-то боле-

ло — просто она знала, что мама сейчас же пойдет к своему рабочему столу и достанет из ящика ненавистный сверток с жирной распашонкой. Ангины нравились Нинке намного больше. Когда она заболела горлом, а бабушка была под рукой, то расклад был совсем другой. Бабушка покупала на рынке большую горькую черную редьку и выдалбливала в ней ямку, словно собиралась сделать из нее чашку, потом заливала туда до половины мед и оставляла на сутки. Редька отдавала меду всю свою лечебную горькоту, мед становился почти жидким и невероятно вкусным, не таким сладким и чуть забродившим. А бабушка все говорила, что это древний рецепт, что испокон веков так от кашля лечились, таблеток-то раньше не было! И всем всегда помогало! Но целые сутки ожидания Нинка никогда не выдерживала — она просила дать ей настоя пораньше и зажмуривалась от счастья, когда бабушка несла к ее широко раскрытому птенцовому рту большую ложку с волшебной жижей. Одновременно с Нинкой всегда лечилась и сама бабушка, разведя медовую редьку водочкой. Она заливала в себя драгоценные капли, смачно крикала и обычно говорила что-то эдакое: «Не пить горького — не видеть и сладкого» или: «Тяжело болеть, а тяжелее того над болью сидеть».

Но бабушка к ним из деревни приезжала редко — это так, к слову.

Нина жила с папой и мамой на первом этаже старого-престарого шестиэтажного дома без лифта в маленькой квартирке с приличной по размеру кухней и двумя миниатюрными комнатками, заставленными до потолка полками с книгами. Их высокий дом отделял своим мощным дореволюционным телом двор от улицы, и пройти внутрь можно было только через арку, с которой давным-давно зачем-то сняли богатые кованые ворота, и теперь попасть во двор мог каждый. Справа от арки стоял дом пониже да постарше фасадного, в три этажа, с довольно неуклюжей надстройкой на крыше — зачем ее сделали и кому она предназначалась, понять теперь было невозможно: то ли бывшая голубятня, то ли отслужившая свое мастерская затрапезного художника, то ли вообще чердак для всякого хлама. Подъездов в том доме было три, и вечно, даже зимой, их двери почему-то оставались открытыми настежь. Хотя были подъезды еще и с улицы, но те соседи в Нинкином дворе почти не появлялись.

Напротив трехэтажного дома с уродским курятником на самом верху торчал желтый двухэтажный, совсем дряхлый и облупившийся, но очень милый особнячок, весь в трещинах и морщинах. Подъезд там был один, а квартир всего четыре, по две на каждый этаж. Балкончики на втором этаже были чудо как хороши: широкие,



с белыми балюстрадами и барельефами над каждой дверью. С барельефов смотрели вполне добродушные и скучающие львы, давно потерявшие свое царзверское достоинство. А прямо напротив арки высился забор — просто забор, и все! За ним шла какая-то многоэтажная жизнь, колосились высоченные деревья, но жизнь эта уже считалась чужой, ею никто и вовсе не интересовался.

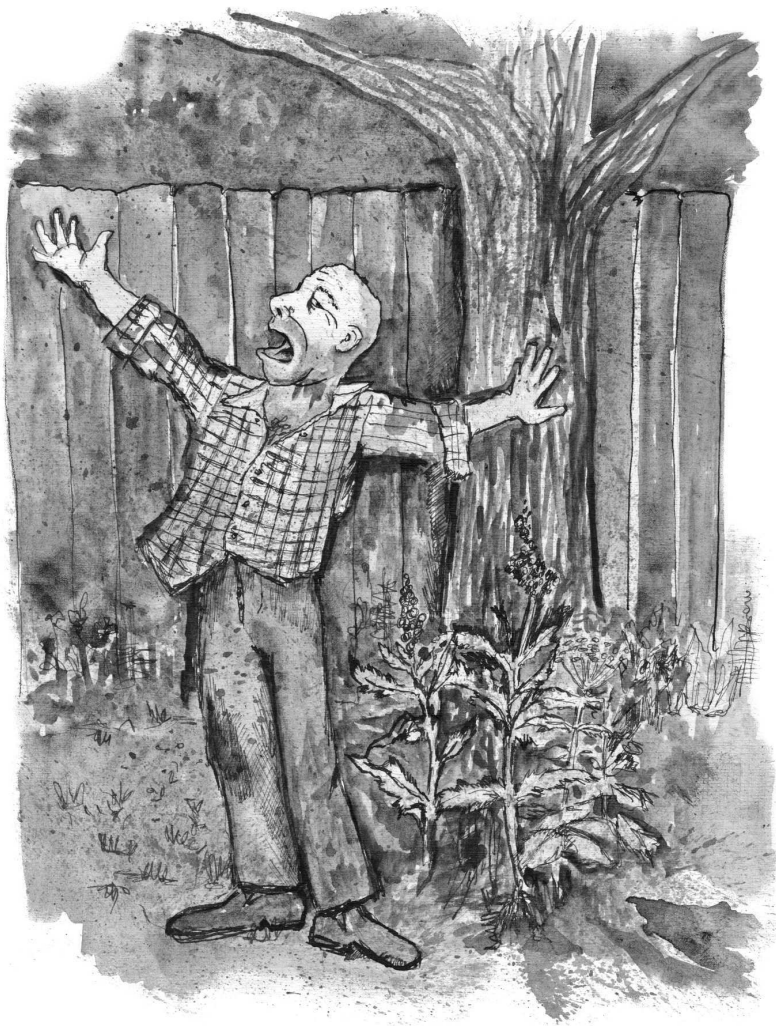
Посреди двора рядом с высокой раскидистой липой цветнела всеми красками детская площадка, совсем небольшая и серьезно потрепанная двумя послевоенными поколениями местных. Она была невероятно красочная. Изначально она была зеленой: после войны это была главная краска страны, и в зеленый красилось все, от подъездных стен до кладбищенских решеток. Видимо, зеленуху замесили тогда, в конце 40-х, в промышленных масштабах, чтоб оттенить серость разрухи и кое-как, хотя бы цветом, приблизиться к природе. Спустя пару лет зеленая краска с железных качелек местами сошла, и выступила опасная, режущая детские руки, ржа. Зеленую жирно подкрасили белой краской, которая осталась от ремонта у кого-то из запасливых и нежлобливых соседей. И эти зелено-белые качельки какое-то время приятно радовали глаз, пока снова не облупились. Бросили клич. На этот раз красную

в майонезной баночке принес художник Серафим, главный дворовый матерщинник. Но краски этой веселой на все раны категорически не хватило, и кто-то привез желтую с дачи. Так детская площадка накапливала цвета, веселела год от года, приодеваясь в новое, радостное и необыкновенное. Хотя со временем чуть покосилась, но не вся, конечно. Песочница никуда и не думала коситься, просто с возрастом чуть сохлась и сильнее припала к земле, почти сровнявшись с ней и похоронив в своих песочных слоях поколения совочков, формочек и лопаток. А кроме песочницы что там было-то? Невысокая горка и одинокие скрипучие качельки на толстых цепях, вот и вся детская площадка!

Нина больше всего уважала качели: нравился ей ритм монотонного покачивания, сначала слегка, совсем чуть-чуть, а потом как р-р-раз! — и она отталкивалась, взлетала все выше и выше, и ей уже становилось страшно, и душа зависала где-то под облаками, а там воздух и счастье!

Вот и теперь она ловко с них спрыгнула, отметив, что получилось дальше обычного, а качельки еще чуть поскрипывали, и даже пыль под ними пока стояла столбом. Рядом с площадкой для молодняка кренилась слегка поплывшая вбок беседка из зеленых реек, где днем сживали дворовые тетки-бабушки, а вечером гуляли подрост-

ки или куролесили пьяницы. Этот караул имел свои четкие часы работы: тетушки заступали после обеда, грузно усаживались, потирая опухшие колени и начиная нескончаемые разговоры о своих почти прожитых и растворяющихся жизнях, а как смеркалось, пост сдавался местным алкашам — обязательно местным, пришлые не допускались! Местных алкашей было мало — вернее, всего один, Мишка. К вечеру, как темнело, бабы уходили парами, а последняя пара во что бы то ни стало дожидалась сменщика, иначе как можно было без присмотра оставить двор? Сейчас-то август, всегда кто-то есть, а по холоду, бывало, к вечеру двор опустевал совсем. Дядя Миша, родной дворовый алкаш, крепко выпив, всегда хорошо пел, и его раскатистый бас выливался из горла, как вино из кувшина, без натуги и усилий. Причем каждую песню он объявлял, как и положено в концертах. Объявлял всегда одинаково: «Музыка народная! Слова народные! «Вечерний звон»! Исполняет Михаил Шамшурин!» И начиналось протяжное и внушительное бомканье на полчаса. Это произведение было его любимым. Иногда он затихал, и соседи уже шли к окошку, чтобы понять причину прекращения выступления, но он звонко икал и менял репертуар без должного объявления: «Я вчера была твоею, а сегодня Мишкина! Хер у Мишки как сосна на картине Шишкина!».



Пока он пел из-под липы — громогласно, по-молодецки, ища пьяненькими глазами хоть каких зрителей, жена его Лизавета даже и не показывалась. Как только петь переставал — все: значит, завалился где-нибудь. Он мог и в луже уснуть-утонуть, если дождь — было один раз такое, еле откачали. Мог по зиме в какой-нибудь сугроб свалиться замертво, и тогда надо было его по-срочному бежать спасать, чтоб, не дай бог, ничем не примерз. Соседи об этой его привычке падать в неподходящих местах знали и зимой всем двором поддерживали в живом состоянии, притаскивая сразу после пения на дом к жене. Так он и жил от сезона к сезону, пьяно, шумно и почти не приходя в сознание. Но до зимы в августе было далеко, чего о ней было думать-то?

Сегодня в тени беседки и в ожидании вечерней охранной смены остались две бабы — Бабрита и тетя Труда, могучие, упитанные и какие-то основополагающие, как марксизм-ленинизм.

Но время шло, а Миша со своими жизнеутверждающими песнями никак не объявлялся. В таких случаях его могли заменить в беседке на посту, например, соседские полудети, совсем еще щенки, которые уже бойко и нагло пробовали на вкус взрослую жизнь, отгородившись от родительских глаз неровными зелеными рейками беседки.

В беседку эту мог зайти только свой молодняк, но выбор был, к сожалению, невелик: подростковая мелочь обитала только в первом или третьем подъезде, а во втором одно старье — молодняк не водился. Помнятся такие случаи, что пришлые, с улицы, и матом на весь двор орали, и драки устраивали, и бутылки били — в общем, куролесили, не стесняясь, не у себя ж дома! Да и выгнать их было вовремя невозможно. Пару раз милицию пришлось вызывать, чтобы разобраться с драчунами и отволочь их в вытрезвитель, а несколько лет назад вообще одного чудика пырнули ножом, и тот кровью своей залил весь песок в песочнице. Хорошо еще, что соседи примчались на крики, обнаружили его у качелек и вызвали «Скорую». Потом детскую площадку надо было ремонтировать, песок менять и осколки собирать — короче, себе дороже. Поэтому-то бабы и оставались нести ежедневный дозор.

В арке раздались шум и возня, и Нина попыталась увидеть, кто идет, открыв настежь окно и выставив пол-лица на улицу: всю личность просунуть сквозь решетку побоялась, чтобы снова не застрять.

«Чужаки, — подумала Нина, — точно, чужаки — наши так орать не станут». Тех, кто идет, она не видела (арка была на одной линии с ее

окном), но стала с интересом наблюдать за реакцией баб. Они вытянули шеи, которые, казалось, были припрятаны до этого момента где-то в позвоночнике, вздыбились, взъерепенились, встали, упершись кулаками в свои мясистые бока, и начали наступление.

— Вы чьи, ребята? — громко и задиристо спросила для начала Бабрита, крупная тетка с лицом простым, как хозяйственное мыло. Но ей всегда хотелось быть красивой: она красила губы и смачно рисовала брови. Брови часто получались разнокалиберными: то разъезжались к вискам, то почти сплывались в монобровь, мгновенно меняя внешне ее характер, настроение и даже национальность. У нее была тонкая душевная организация, слабое зрение и легкое косоглазие, поэтому во взгляде ее прослеживалось что-то гипнотическое. Иногда она вспыхивала еле сдерживаемым огнем, но сводила эти порывы не к излишкам эмоциональности, а к застарелым остаткам климактерических приливов. Сильно созрев и уйдя с работы на пенсию, она взяла под свое крыло весь двор, обходя его дозором, как тридцать три богатыря, утром и вечером.

Всю свою боевую жизнь она просидела на важном и очень ответственном посту — в бюро пропусков на киностудии Горького. Она засела туда совсем молодой, когда студия еще называлась

«Союздетфильм». Там у нее была каморка за стеклом на пару с другой пропускницей-цербершей, где они солидно и обстоятельно выписывали бумажки, позволяющие пройти на сказочную киношную территорию. Давно это было.

Теперь и Нина увидела ребят. Их было шестеро: четверо парней и две девахи старше Нины года на три-четыре. Они сразу перестали гоготать и собрались в кучку, чтобы достойно встретить пожилого противника, потом вдруг замялись и немного отступили. И хотя, с одной стороны, на чужих старух им было по большому счету наплевать, не маленькие уже, по четырнадцать, а с другой — почти у каждого в семье была такая же бабушка, ну или почти такая же, любимая, заботливая, хоть и строгая, но всегда провожающая в школу горячим завтраком. Может, почти такая же, как эта, к которой все-таки чувствовалось какое-то усредненное уважение, заложенное на генетическом уровне.

— Так чьи, спрашиваю? — Бабрита была непреклонна и всей своей грозной позой показывала, кто здесь хозяин.

— Да мы свои, мы с Мамоновского, — пытался пробиться сквозь охрану самый крупный, прыщавый и пронырливый, лет пятнадцати, видимо, по возрасту и росту вожак остальных. — Нам



просто посидеть, а то родители с работы еще не пришли, деваться некуда, — попытался он начать переговоры мирным путем, продолжая нарезать резьбу в носу.

— Сыночка, ты руку-то из лица вынь, когда с женщиной разговариваешь, — приказным тоном произнесла тогда тетя Труда, Гертруда Николаевна, большая и суровая баба ложного интеллигентного вида, не лишенная сдобности и остатков женской привлекательности. — Сыночка, паразит, ты чего сюда без спросу свою шоблу-еблу привел? Чего молчишь? — Она мастерски выдерживала долгую театральную паузу, готовясь к решающему броску, и ее потрепанное и полустертое лицо, напоминающее изъятую из обращения монету, не выдавало никаких эмоций.

— Ты мне просто ответь на один вопрос, — она вдруг заговорщицки подмигнула подруге и снова вперилась взглядом в подростка:

— Ты ходить-то уже умеешь?

Парень удивленно заморгал и серьезно ответил:

— Ну да...

— Так и ходи отсюда на хер! — Труда даже покраснела, но не от стыда, конечно, а от удовольствия, что так подшутила над щенком. — Тут тебе дом родной? Ты мне хоть одного твоего знакомого в нашем дворе покажи, сучий ты потрох! Брысь-



кайте отсюда, мелюзга, чтоб духу вашего здесь не было!

И Труда, одернув свой старый халат, надетый в этот раз наизнанку, бесстрашно пошла на огрызающихся шакальчиков, точно зная, как с ними управляться. Еще бы, она работала когда-то на звероферме и очень хорошо понимала правила иерархии: если не ты их, так они тебя. Сыночка съязвил что-то негромкое своим дружбанам, те заржали в голос, развернулись и пошли к арке искать уют в другом месте. Враг был отбит.

На всякий случай Труда бросила им на посошок, чтоб наверняка:

— И шоб вам усем повылазило, паразиты!

А Бабрита добивала окончательно и бесповоротно:

— Кес-ке-се, — спросила она по-французски, моментально переводя на русский: — А что за нахер?

Подростки от такого напора мгновенно превратились в послушных детей, молча и понуро направились к арке, а бабы-защитницы победно переглянувшись, снова засели в покосившийся блиндаж.

Нинка все сидела на подоконнике, подложив для мягкости под попу подушку, и лениво рассматривала мир. Окно было вечно грязным, как его

ни мой, — первый этаж, все брызги и вся грязь облепляли стекла, и картинка была как в тумане. Нине это не нравилось, но сделать она особо ничего не могла. Подоконники были широченные и прохладные, и под каждым в каждой комнате холодильник, шкафчик, куда можно было класть запасы, всякие там банки с огурцами, консервы и соленья. Внешняя уличная стенка была тонкой, и в шкафу этом всегда сохранялась прохлада, как раз такая, какая нужна была для сохранения продуктов. Мама объяснила, что раньше, до революции, холодильников не было, вот и делали холодильники в каждом доме. Все шкафчики в квартире и вправду были заполнены запасами — время было советское, дефицитное.

Но у Нины под подоконником стояли банки с сушеными грибами. У них вообще была семья грибоедов, их ели и так, и сяк, и в супах, и в жаренье, и голыми, и с картошкой-луком, и в икру проворачивали, и в пирогах поглощали. А самым интересным была, конечно, охота на них. Нинка с папой, мамой и бабушкой вставали рано-рано, часов в шесть, быстро завтракали, одевались как на настоящую охоту — резиновые сапоги, даже если дождем и не пахло, куртки, штаны, голову прикрывали — и в путь. Еще бабушка давала каждому в руки по ножу и предупреждала: «Убью, если кто нож потеряет!» Они у нее все любимые

были — хорошо заточенные, с ручкой по руке. Шли молча до какого-то полянного места с молодым березнячком и невысокой травкой, открытого солнцу и дождю.

— Ищите тут! — командовала бабушка. — И кланяйтесь, прямо-то не ходите, прячутся они от нас!

Все разбрелись по кустам и вскоре сходились с полными ведрами чистых пахучих крепких беленьких.

Дома шел разбор: что на жареху, а что на сушку. Бабушка брала чистую кисть с щетиной, очищала каждый боровичок от песка и хвои и откладывала в отдельную корзину. Те, что предназначались для сушки, мыть было никак нельзя. Потом она резала каждый грибок вдоль, нанизывала на толстую нитку и всю эту грибную гирлянду подвешивала в комнате под потолком, прямо у печки. Так грибы и висели почти все лето, хотя для того, чтобы высушить беленькие, вполне хватало двух недель. Но Нина просила бабушку их не снимать, пока она не уедет: ей нравилось жить в сказочной лесной избушке среди подвешенных пучков трав, грибов, залетных бабочек, засушенных и давно забытых букетиков полевых цветов, стоящих то там, то здесь по всему домику в маленьких майонезных баночках.

А дома Нина тащила грибы к себе под окно, засыпала в банку до верха, крепко-накрепко закры-

вала крышкой, но они все равно ухитрялись всю зиму и весну напоминать и о себе, и о бабушкиной избушке — запах каким-то невозможным образом проникал даже через закрученную крышку и всегда, даже зимой, в комнате стоял тонкий и сначала не совсем различимый аромат чего-то лесного и знакомого. Нинины подружки водили носом и не могли сосредоточиться. И всякий раз обязательно спрашивали — а чем пахнет-то? А пахло действительно лесом, полянкой, разогретой июльским солнцем, земляничкой, уже красной, но так обидно растоптанной, прелой землей и белыми: вон-вон они! под молодой сосенкой! А когда маме надобилась парочка грибов для супа из заветной банки, Нина доставала их сама. Всегда отбирала так, чтобы и шляпка была, и ножка, чтобы все почестному. Выкладывала из них сначала какую-то мозаику на столе, потом отбирала, какие пойдут в кастрюлю на этот раз, и гордо, потому что сама нашла их в лесу, несла маме на кухню.

Нина жила в дальней комнате в углу дома — слева от арки, в самом тупике. Нинино окно выходило прямо на крышу чужой котельной, в которую можно было войти только с соседнего двора, но крыша, поднимающаяся от земли почти на метр, была целиком в Нинином владении. Пятачок перед ее окном был влажный, заросший мхом и пле-

сенью. Солнце сюда никогда не заглядывало: как оно могло сюда достать? Никак! Зато из кирпичной кладки прямо в ее окошко рос какой-то высокий, мощный и очень многолетний, практически вечный сорняк. Он колосился и матерел из лета в лето, а зимой ненадолго застывал в недоумении, не сбрасывая листья. Нине он был по душе. Его мощные корни впивались в цемент между кирпичами, залезали в щель между кладкой и асфальтом и со временем целиком ушли под дом. Видимо, в той сырой темноте им больше нравилось жить. Солнца ему в тупике, конечно, не хватало, он и приспособился к теневой жизни, начав что есть силы расти и тянуться ввысь.

Подоконник был любимым Нининым местом. Здесь она делала уроки, читала, мечтала, играла. Тут рядами стояли старые и любимые, совсем из детства, игрушки, с которыми Нина никак не могла расстаться, хотя понимала, что давно пора — она уже не маленькая. Ну как можно было выбросить дряхленького Буратинку с дурацкой улыбкой, смеющимися глазками и бровками домиком? А любимого резинового серого ежика с нарисованными неколючими иголками? Раньше он пищал, но теперь пищалка выпала... А неужели рука поднимется выкинуть пусть и не совсем целую, с утратами, кремлевскую башню со звездой? Она совсем для маленьких, конечно, но Нина помнила, как со-

бирала и разбирала эту красоту, нанизывая ее детали на огромный закругленный штырь. Ее купил папа, когда они ходили в «Детский мир». Как можно с этим расстаться? А вот эти миленькие, полувыцветшие, но такие любимые растрепанные куколки и старенький тряпочный клоун с красным носом? А страшная кукла, которую она любила из жалости? «Нет, они вечно будут сидеть со мной на подоконнике, — думала Нина, — так веселей — все-таки не совсем одна».

Нина снова высунулась посчитать голубей. Пусто. Видимо, они спрятались под навес или сидят у Лели на балконе, она всегда оставляет им крошки. На качелях тоже никого. И соседей нет, только белье чуть раскачивалось на веревке — маленькие шапочки, крохотные распашоночки, пеленочки — весь набор для нового человечка. У тети Майи родился сыночек. Нина видела его крохотное сморщенное и совершенно некрасивое личико, совсем не игрушечное и крикливое. Новый сосед. Нина подошла на него посмотреть, когда тетя Майя выносила его во двор. Егоркой, кажется, назвали.

Нина все сидела и сидела так у окна, мусоля книжку и вспоминая, как здорово она проводила время у бабушки в деревне, откуда на днях приехала, сколько грибов сама засушила и ягод съела. Обхватив руками коленки, она подставляла лицо приятному теплому ветерку, который собирал во



дворе пыль и с удовольствием обдувал ею девочкино лицо. Пора уже было собираться в школу — до начала занятий оставалось всего несколько дней. Нина вспомнила о белых огромных бантах, которые мама по ее просьбе заранее красиво и пышно завязала, чтобы не торопиться утром перед первым школьным днем. Взяла их с книжной полки и аккуратно пристроила на голове, просто приложив. И хотя она уже не маленькая, но банты были такими красивыми и пышными, что сознательно отказаться от них было невозможно. Один бант все время скатывался на пол, как колобок, но Нина снова и снова поднимала его и настойчиво всовывала в косы-«баранки», которые мама заплетала ей каждое утро. Наконец она снова села на подоконник, уже самая красивая на свете, с огромными бантами-одуванчиками, взяла книжку и уютно устроилась, посадив рядом старика Буратинку.

Родители у Нины были молодыми архитекторами, и Нина всегда хвасталась ими во дворе. «Их зовут Варя и Володя, они придумывают дома и квартиры, — с придыханием говорила она ребятам, — чтоб удобно было жить. Это их работа, не каждый так умеет. Сначала клеят домики из бумаги, показывают начальникам, но чудеснее всего, когда эти уже ненужные домики они отдают мне поиграть. Насовсем. И знаете, домики, склеенные

из бумаги, называются «макет», — учила она детей. В эти бумажные макеты она играла все детство. И хотя эти белые макеты были совершенно не похожи на те, где обычно живут принцессы, но все равно играть в них было очень интересно, особенно когда рядом с игрушечными домиками росли зеленые деревья из клееных ниток, а по бумажному тротуару парами гуляли бумажные люди. Нина представляла, кто где живет из этих ненастоящих человечков, и давала им имена.

По вечерам родители очень часто уходили в гости: друзей у них было предостаточно, и их уходы стали делом совсем обычным.

— Ты уже большая девочка, — сказала мама в первый раз, когда соседка не смогла остаться с Ниной, а родителям очень-очень надо было пойти на чей-то день рождения. Ну очень-очень! — Мы с папой скоро вернемся. Котлеты на сковородке, ты знаешь. Хлеб я тебе нарезала. Чай налила. Если захочешь спать, почисти зубы и ложись, хорошо? Не жди нас.

Нине тогда понравилось, что к ней наконец стали относиться по-взрослому: она давно уже мечтала вырасти, но все никак не получалось, а тут раз — и почти большая. Сначала она, конечно, немного испугалась, что останется в квартире совсем одна, но не подала виду. И на всякий случай крепко-накрепко обняла маму с папой перед их

уходом: вдруг они больше никогда не увидятся? И очень постаралась не заплакать, потому что взрослые дети плачут редко, если уж только совсем припрет. Она закрыла дверь на оба замка, еще раз на всякий случай подергала дверь и включила свет во всех комнатах. Походила по пустой гулкой квартире, прислушалась. Все звуки были знакомыми и успокаивающими. На кухне громко тикали старенькие часы в металлическом корпусе и капала по капле вода из крана. Папа все обещал починить кран, но то ли у него не получилось, то ли на это, как обычно, не хватало времени. В ванной гудела газовая горелка, которая каждый раз вспыхивала со страшным хлопком, когда включалась горячая вода. В комнатах тоже было тихо. Ничего страшного. Все родное и привычное. И со временем она совершенно перестала бояться оставаться дома за хозяйку, когда уходили родители. «Главное, не жги спички и никому не открывай дверь», — предупреждала мама.

Варя, Нинкина мама, была невозможная красавица с горючей смесью из многих кровей, которые тонко оттенялись одной, алтайской. В прабабушку ее, настоящую алтайскую принцессу из самой Каракольской долины, места священного и почитаемого, влюбился доктор, который вдруг решил уехать от обширной московской практики,

чтобы изучать народные лечебные возможности. То ли ему кто посоветовал, то ли он сам пришел к такому необычному решению, но он приехал с рюкзачком за тридевять земель, оглянулся вокруг и замер от красоты: пышные кедры стоят, расшаряпились, под ними ярко-оранжевые жарки, огоньки их еще называют, прямо полями, полями, вдали чуть голубеют горы, покрытые где сплошь лесом, а где полностью лысые. И облака, белые и кудрявые, залегшие на вершинах в ожидании, пока их не сдует ветер, самим-то шевелиться лень. А по горам пасутся на вольной траве тонконогие и гривастые кони, и коршун в вышине завис над головой, высматривая полевку или суслика, да полная тишина-покой. И он не совсем поверил попервоначалу, что вся эта роскошь возможна на самом деле, долго так простоял и почувствовал, что начал растворяться, и уже непонятно, где заканчивается сам, а где начинается природа...

Постоял так еще, повдыхал целебного воздуха и пошел по наводке в аил, куда велели. Там знахарка с внучкой двенадцатилетней жила — алтайка не древняя, но мудрая, знающая, немногословная и обветренная всеми ветрами. Секреты выдавала с трудом, но, видимо, была слишком обязана рекомендовавшему, поэтому приняла столичного доктора без строптивости. Жил он целый год гостем в аиле на мужской половине, любовался на

первозданную и какую-то диковатую красоту девочки, которая позвякивала колокольцами в косах для отгона злых духов. А как девочке исполнилось тринадцать, хозяйка сама предложила выкрасть ее и с собой забрать, чтобы жизнь была полегче.

Вот такая легенда, а как оно было на самом деле, никто и не помнил. Но кровушка алтайская эта, природная, целебная и могучая, влилась тогда в семейную историю и приукрасила все потомство. Со временем, с поколениями, драгоценная эта жидкость разбавилась, но не утратила пикантности. Вот и в Варваре было что-то такое, что заставляло мужчин поворачивать голову ей во след, смотреть с восхищением, и не просто смотреть, а вглядываться, а потом ловить себя на мысли: а что это было-то?

Да и Нинке с лихвой перепало красоты, нераспустившейся пока, бутонной и очень обещающей. Они с мамой и папой жили в абсолютном счастье! Нина чувствовала это счастье, оно слегка покалывало виски и щекотало ноздри. Папа не мог пройти мимо мамы просто так, не коснувшись ее, не чмокнув в шею, не шепнув на ушко что-то особенное, Нинке еще непонятное. А еще они очень любили стоять, обнявшись, все втроем. Папа брал Нину на руки, подходил к маме и обнимал ее. Нина зависала на родных шеях, попискивая от



удовольствия, а родители в эти мгновения откровенно и пронзительно смотрели друг другу в глаза, словно передавали друг другу какую-то очень важную, жизненно необходимую информацию.

А потом счастье куда-то улетучилось. У Нинки перестало щипать в носу и покалывать виски. Она не понимала, что происходит, просто не чувствовала того необъяснимого, что было раньше. Перестали молча стоять втроем, чуть покачиваясь, словно стараясь друг друга убаюкать. Когда папа приходил вечером с работы, то только Нина бежала к нему навстречу, а мама продолжала греметь кастрюлями на кухне или читать, отвернувшись к окну. И к тому же по вечерам мама с папой перестали вместе ходить в гости. Нина сначала этому даже очень обрадовалась: то мама, то папа все чаще и чаще оставались с ней. Она что-то такое чувствовала, но не понимала, как это ощущение себе объяснить: стало меньше радости, что ли? Мама перестала так весело и задиристо смеяться, папа больше не называл маму ласково Варюхой и перестал пристально и как-то по-особому на нее смотреть — он просто прекратил на нее смотреть вообще и все время отводил глаза. Внутри семьи происходило что-то необычное, хотя все вроде было почти как всегда: сначала мама будила Нину, собирала ее в школу и шла на работу, потом уходил папа, потом Нина одна возвращалась домой,

разогревала обед, делала уроки и ждала родителей. Все как обычно, но детская кровь уже чувала то, что никак не решались сказать родители.

Однажды вечером грустный папа зашел к ней в комнату, присел на краешек кровати и вместо того, чтобы в который раз почитать любимого «Маленького принца», сказал каким-то не своим голосом:

— Нинок, ты знаешь, как я тебя люблю. Ты уже большая, тебе целых девять лет, и я хочу, чтобы ты постаралась меня понять. Мне надо от вас уехать. Я мог бы придумать тебе разные сказочные истории, но скажу прямо, как взрослой. Твоя мама полюбила другого человека. Так случилось, и в этом никто не виноват, ни мама, ни я, и тем более ни ты. Я уйду жить в другое место, но я всегда-всегда рядом с тобой, ты должна это знать. Мама выйдет замуж за другого человека, но мы все равно с тобой будем часто видеться.

И все. А утром он поцеловал ее, взял свой маленький клетчатый чемодан, с которым обычно ездил в командировки, и ушел. С тех пор вот уже целых два года жил где-то параллельно.

Нина все еще сидела на своем насиженном месте и скучала, глядя в вечер. Мама еще не вернулась, а отчим красил в ванной волосы басмой



и пел арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Нина арию не любила, не любила она и отчима.

Он завелся в их квартире год назад — ну, может, чуть больше. Переехал почти сразу после папиного ухода. Заявился уже с чемоданами, коробками, пачками книг, перевязанных бечевками, и даже лыжами, хотя стояло лето. К лыжам были прикреплены еще ботинки и палки, которые оказались довольно небрежно связаны в один букет, и когда мама попыталась прислонить лыжи к стене, тщательно выверяя центр тяжести, эта неуклюжая конструкция все равно рухнула на пол со звоном и грохотом поперек комнаты, как только мама отошла.

Нину эти лыжи ужасно тогда расстроили. Нет, даже разозлили! Не потому, что они вдруг заняли всю комнату, и не потому, что упали, — Нина испугалась другого: неужели этот чужой дядька собирается остаться до зимы? «Он тут будет еще и на лыжах расхаживать? И будет жить в нашей же квартире?? А если все-таки вернется папа, как тогда? Он увидит этого нового, и что? Как они уживутся?»

Нина злилась еще и на маму. Та как-то очень вскользь ей сообщила о том, что дядя Игорь переезжает к ним в квартиру — так, между прочим, провожая Нину в школу.

— Тебе он понравится. Он заботливый, добрый и очень умный. Ты можешь даже называть его папой, если захочешь. А еще у него есть сын, он старше тебя, но я уверена, что вы подружитесь.

И все. А вечером этот добрый и заботливый ввалился в квартиру со своими лыжами. У Нины даже времени не было привыкнуть к мысли об этом чужом дядьке, который так нагло вперся в ее пространство.

— Меня зовут Игорь Сергеевич, деточка. Мы с тобой поладим, — сказал он, противно потрепав ее по щеке холодной липкой рукой, а мама виновато улыбнулась.

Но самое ужасное в этом чужом никудышном дядьке было то, что он стал называть маму незнакомым именем «Чаровница».

Новость о разводе Вари с Вовой во дворе обсасывали долго. Бабы гудели: как можно было променять молодого, умного и обаятельного архитектора, Нинкиного отца, на полную ему противоположность — стареющего и лысеющего архитектурного начальника? Ни уха ни рыла, никакущий мужик по сравнению с Володькой, и чем он Варьку взял, непонятно. Может, бледностью своей, предложила Труда. Ведь бледность — признак аристократизма. Володька-то из тех, что проще да поконкретней, а тут целый бледный

аристократ, захихикала Труда. Ага, или просто бледный и больной, вставила свое Лелька, все аристократы вымерли давно, а кто не сам вымер, тех повырезали! На Лельку тогда шикнули: не дело это так говорить, резали, кого надо было резать, и дальнейшие обсуждения сразу пресекли, не переводя частные дела в широкомасштабные. В общем, думали-гадали и решили, что своим начальственным вальяжным видом взял, деньгами или властью. Власть-то штука привлекательная. Хотя старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет, говорили бабы. И если немного подождать, должно же в конце концов прийти понимание. Они все ожидали и ожидали, но понимание никак не приходило, хотя для них это было очень важно: а как же, это ведь объяснило бы Варькин поступок.

Бабрита решила, что это была страсть — обыкновенная бабская страсть, ничего больше. Супружеская жизнь, видимо, застоялась, наскучила, захотелось зигзага, вот Варька и свернула первая. Лучше безобразие, чем однообразие, хотя, конечно, к Варюхе это не относится, не такая она — так, просто присказка для красного словца, сказала Бабрита.

И бабы действительно млели от ритуального, даже какого-то сакрального процесса обсуждения всех этих мочеполовых проблем, от многочасовых